

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Ответственный редактор
А. М. ГРАЧЁВА



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1994

Рецензенты Л. Н. КЕН, С. Ю. ЯСЕНСКИЙ

ISBN 5-86007-024-1

© Институт русской литературы (Пушкинский
Дом) Российской Академии наук, 1994
© Издательство «Дмитрий Буланин», 1994

ПУШКИН У РЕМИЗОВА

Подобное, нестандартное заглавие настоящей работы вызвано не одним только стремлением нарушить традиционно-конферентное присоединительное сочленение писателей, на которых строится обыкновенно добрая треть докладов, произносимых на каждых чтениях. Просто с союзом «и» Ремизов и Пушкин не очень стоят рядом. Поставив насильно, надо сразу продолжать дальше, пожалуй, из Пушкина: «Они сошлись. Волна и камень, (Стихи и проза, лед и пламень) Не столь различны меж собой...».¹ Не сомневаюсь, что дотошный анализ обнаружит и сходжения, но составят их суть те черты, которые принадлежат едва ли не каждому подлинному писателю.

В то же время «Пушкин у...» как раз хорошо: «в гостях у Ремизова», «вот какой он у него вышел...». Да и пойдет речь, в сущности, ведь не о паре, а о ком-то одном — то ли о ремизовском Пушкине, то ли о пушкинском Ремизове. Это и предстоит выяснить.

Пока еще вы, пользуясь выражением Стебелькова у Достоевского, «следите» (опять «у», но ничего не поделаешь), приведу совсем не преклонительное и потому особенно любопытное. Начет «поэтической меры», «примера внимания к слову и работы над словом», «единственного нашего «*Arg poétique*» и «нашей литературной совести» «Огонь вещей» нам поведал достаточно.² А как быть с письмом к В. В. Пермиловскому от 7 июля 1936 г., писанным между прочим, незадолго до в основном юбилейно-апологетического «Дара Пушкина», из «Возрождения» почти без изменений перекочевавшего в будущее «сны и предсонья». Тут находим:

«Я не пушкинист (...) о Пушкине что я могу сказать, кроме того, что и всякий скажет. Читаю я о Золотой Рыбке. Пытался читать себе прозу, не звучит. Да и понятно: проза Пушкина — это итог XVIII в., холодная, сухая, без вдохновения. И не в ней Пушкин».³

Конечно, писано в ответ на приглашение принять участие в торжествах по случаю 100-летия Пушкина в Праге и чтобы отказаться. А все же сказалось. И пусть только о прозе плохо, а Пушкин «не в ней», но на размышления наводит.

Другой пример — кажется, не очень известный. Изготовленная собственноручно писателем тетрадка из коллекции госпожи Л. Варсоно, подаренной в Пушкинский Дом и хранящейся в его Пушкинском кабинете. Самим же Ремизовым и озаглавлена: «Потерпевшие в 125-летие со дня рождения А. С. Пушкина в Париже и в России». Заглавие переделано из вполне мирного и чинного извещения о торжественном чествовании памяти великого русского поэта 2-го июня в помещении Сорбонны (амфитеатр Ришелье), организованным «Комитетом Помощи Русским Писателям и Ученым во Франции», «Союзом Русских Писателей и Журналистов» и «Русским Народным Университетом». Почтенные организации вследствие язвительного вторжения ремизовского пера и оказались в результате «потерпевшими».

Внутри сначала газетная вырезка из эмигрантской печати:

«Дело о видении Пушкина

Согласно последних сведений дело о „явлении“ окровавленной тени Пушкина у колодца в с. Пиканском Барнаульского уезда окончилось привлечением к суду еп. Барнаульского Никодима, протоиерея Смирнова и священника Погоржинского.

Епископ Никодим и протоиерей Смирнов приговорены на шесть лет тюрьмы „со строгой изоляцией“, священник Погоржинский — на 4 года.

Воистину потерпевшие. Юмор, разумеется, получается черный. Далее жертвы поскромнее. Машинопись:

«Речь Ильи Зданевича на чествовании 125-летия рождения А. С. Пушкина в Сорбонне, 12 июня 1924 года, недопущенная юбилейным комитетом к оглашению». В речи и обычные антиюбилейные тирады насчет «признания... горше забвенья», и «А. С. Пушкин в плену у невежд», и по поводу цветущих из поколения в поколение школы учеников Пушкина, и в адрес «толпы евнухов» (читай: «пушкинисты»). В общем — «навели хрестоматийный глянец» и слабый запах футуристов. Но рукой Ремизова к слову «Речь» спускающаяся стрела и сакраментальное «не дали говорить».

Впрочем, на другой странице снова билет почтенных организаций и вмонтированные Ремизовым искусственный цветок и шпага.

Затем в число «потерпевших» поступает и сам писатель. «Встреча петроградцев 27 декабря 1923 года в зале кафе Вольтер. На вечере выступят. Писатели: Тэффи и Алексей Ремизов». «Открытое собрание группы „Через“ в кафе de Port Royal: Алексей Ремизов прочтет из книги „Кукха“. 12 июня 1924 г. в Сорбонне в начале литературной и музыкальной части „Le Pêcheur et le Poisson d'Or“. И кое-что еще».⁴

Откуда такой разлет в суждениях? То казалось бы безусловное приятие, а то мерцающая череда сомнений и отрицаний?

Можно было бы все списать на эволюцию, да вот беда — и в некоторых поздних высказываниях ощущается наряду с признанием величины Пушкина некоторая отстраненность от него Ремизова. Пушкин велик, да не свой брат. Вот Гоголь, может, и не так безусловен, да дорог, и недаром. Ведь зафиксировано однозначно Н. В. Кодрянской: «вел свою родословную от Гоголя».⁵ Отсюда о Гоголе всегда добродушно, так что даже розановское «кикимора» как добродушное воспринять приглашал. А о Пушкине то преклонительно-высоко, а то и как-то двусмысленно, чтобы не сказать грубо. Так о дуэли пушкинской то:

«В его (Блока) смерти было роковое, как в смерти Пушкина, Лермонтова и Гоголя» («Петербургский буерак»), «Февральские поминки Пушкина — это ваш апофеоз» («К звездам. Памяти Блока» — «Взвихренная Русь»). А то: «Пушкина пристрелил друг-приятель в Санкт-Петербурге». Это как будто что-то из Д. Хармса, как и следующее из «Огня вещей»: «И Гоголь заплакал.

„Боже, как грустна наша Россия!“ — отозвался Пушкин голосом тоски.

Гоголь поднял глаза и сквозь следы видит: за его столом кто-то согнувшись пишет.

„Кто это?“

„Достоевский“, — ответил Пушкин.

„Бедные люди!“ — сказал Гоголь...».⁶

В подходе к языку Пушкина немного ремизовского найти удается: «Мысль о „вяканье“ не пропадает: европеец Пушкин советовал учиться у просвирен, но по словам Вяземского сам просвирен не очень жаловал». Гоголь же опять с ног до головы ремизовский: «Гоголю нечего было раздумывать. В „Вечерах“ и „Миргороде“ он „вякал“ на своем природном языке „быдла“, „смерда“». В общем, по слову самого Ремизова, „с Пушкина все начинается, а пошло от Гоголя“.⁷

Как подобное отношение вписывается в контекст серебряно-вечного и эмигрантского пушкинизма? Пример со Зданевичем, казалось бы, заставляет вспомнить футуристические пароходы, и, возможно, что эта ассоциация отнюль не случайна, хотя сам Ремизов от них в «Огне вещей» откrestился: «А от стихотворной риторики Маяковского, однажды в футуристическом манифесте „сбросившего Пушкина, Толстого и Достоевского с корабля современности“, если что и сохранится, то лишь его площадные плакаты, оваянные зловещим Балдой Пушкина».⁸ Что касается символистов, то им как раз были свойственны иногда не менее серьезные усомнения в Пушкине, чем позднейшие ремизовские: «слишком прост и целен» (Брюсов, Бальмонт), «пушкинской цельности не хватает глубины» (Андрей Белый), «блистательный, но лживый гений» (Федор Сологуб).⁹ Только сам Ремизов этих усомнений как будто бы не заметил:

«Символисты, как Брюсов, а затем Кузмин, провозгласившие Пушкина литературным вождем, напомнили в годы

общепризнанного литературного «как попало» и самодельщины о занимательных конструкциях пушкинских рассказов, в этом значение их «пушкинизма».

И еще более определенно в «Дневниках»:

«Когда говорят о литературе конца 90-х годов и начала нашего века — „ренессанс“, не говорят „чего“. Надо думать о 20—30 годах девятнадцатого века. Символисты под знаком Пушкина, а сборники „Северные цветы“ — пушкинская традиция.

В этом смысле можно понимать „ренессанс“.¹⁰

Символистские сомнения в Пушкине самими же символистами и преодолены были. Но есть другой источник одновременного преклонения и отрицания, постоянного «за» и «против», источник более первородный как по сравнению с самим Ремизовым, так и с символистами, где находим сходный скепсис к Пушкину, сопоставленному с теми же Гоголем, Достоевским и Толстым: «есть множество тем у нашего времени, на которые он и зная даже об них, не мог бы никак отозваться, есть много более у нас, которым он уже не сможет дать утешения; он слеп, „как старец Гомер, — для множества случаев“.

И скепсис этот вовсе не отменял преклонения: «норма для правильного отношения к действительности», «идеал нормального здорового развития», «на вопрос, как мир держится и чем держится — можно издать десять томов его стихов и прозы».¹¹

Все эти качания одного из главных членов «обезьянней палатки» и позднейшего героя «Кукки» намного опередили по времени даже самые первые высказывания Ремизова о Пушкине, и ни в одном из этих высказываний ни малейших отсылок к Розанову мы не находим (впрочем, они есть в разговоре о Гоголе). Но и без таких отсылок можно почувствовать в ремизовских снах о Пушкине тень розановского гениального парадоксализма, ответ хотя бы его «беспросветного ума»¹² (постоянный отзыв Розанова о Шестове, зафиксированный Ремизовым).

Вспомнив розановские «идеал», «норма» и «глава мирового охранения», нельзя не ощутить еще резче пушкинскую удаленность от Ремизова. Писателя, определявшего главную и основную тему свою как «страды мира, беда человеческой жизни, как трудно жить на свете!» Какое это нарушение пушкинских законов: «лишь юности и красоты поклонником быть должен гений», «тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман».¹³ И как легко было Ремизову скатиться в нигилистическое к Пушкину.

Кухарку Настю его во «Взвихренной Руси» научили говорить всем, что Россия не погибнет, «потому что есть Пушкин, Лев Толстой, Достоевский», но та скоро не выдержала: «и Бог с ним, с Пушкиным, Толстым и Достоевским: голодом пропадешь!» — собрала все свое добро и в деревню. «Насте легче всего дался Пушкин, Толстого она забывала, а над Достоевским

мучилась, припоминая; но в конце концов одолела». ¹⁴ Ремизову Пушкин труднее всего дался, и то, что вначале мнилось «холодным и сухим» раскрывалось затем как особый стиль, «рассказ», нечто вроде «стилизаторства» (снова попытка увидеть родственное себе). В Пушкине открывалось его «непосредственность», которую с завистью Ремизов отмечает, например, в пушкинских рисунках (статья «Рисунки писателей»). ¹⁵

Итак, в Ремизове пушкинского немного обнаруживается. Сам он это хорошо чувствовал и относил себя не к пушкинскому — совсем к другому ренессансу:

«Ренессанс» конца XIV и начала XV века. Словоплетение: Епифаний Премудрый. О таком ренессансе можно говорить смело. Андрей Белый, Хлебников, Маяковский, примите и меня в эту словесную компанию» (отнюдь не случайное сближение себя с футуристами). Но в Пушкине Ремизов свое, хоть и не сразу, нашел: конечно, народное, почвенное — «Онегин», «Полтава», «Борис Годунов», «царь Салтан», просвири, сны его — по ремизовскому слову, «правдашные», «вещие». ¹⁶ И поверх всех барьеров открылось непреложное:

«Я увидел его демоном — одним из тех, кто выведал тайну воплощения Света; с лилией поднявшись со дна моря и, пройдя небесные круги, он явился на землю — «и демоны убили его». Это произошло при чтении: «Когда я читал богомильские легенды о «Тивериадском море», мне вдруг представился Пушкин». ¹⁷

Кстати, богомилы, как известно, болгарско-византийские еретики дуалистического направления. Легенды их посвящены сотворению Света Богом и Сатанаилом из Тивериадского, то есть Галилейского моря. Небольшие комментаторские разыскания, предпринятые мною по этому случаю, дали следующий результат: демоном, выведавшим тайну воплощения Света Пушкин представился Ремизову, когда он читал «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях» И. Я. Порфирьева (СПб., 1877. С. 87—89) или «Богомилски книги и легенды» Йордана Иванова (София, 1925. С. 287—311).

Таков окончательный Пушкин у Ремизова. Как и все в творчестве подлинного писателя, он сильно смахивает на него самого.

Примечания

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937—1949. Т. VI. С. 218.

² Ремизов А. М. Огонь вещей. М., 1989. С. 147, 148.

³ Русская литература. 1990. № 2. С. 156 (публикация А. М. Грачевой).

⁴ Пушкинский кабинет ИРЛИ РАН. Коллекция Л. Варсоно (Париж).

⁵ Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1954. С. 9.

⁶ Ремизов А. М. Огонь вещей. С. 46.

⁷ Там же. С. 139.

⁸ Ремизов А. М. Огонь вещей. С. 145.

⁹ Цит. по: Писатели «серебряного века» и первой русской эмиграции о Пушкине. Вступит. статья, подг. текста и примеч. С. А. Кибальника. СПб., 1994. С. 213, 615.

¹⁰ Цит. по: *Кодрянская Н.* Алексей Ремизов. Париж, 1954. С. 30.

¹¹ Писатели «серебряного века» и первой русской эмиграции о Пушкине. С. 116, 617. Подробнее см.: *Кибальник С. А.* Розанов «за» и «против» Пушкина // *Новый журнал*. 1993. № 1. С. 90—94.

¹² *Ремизов А. М.* Кукха. Розанова письма. // *Ремизов А. М.* Царевна Мымра. Тула, 1992. С. 236.

¹³ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. С. 3. Т. 253.

¹⁴ *Ремизов А.* Взвихренная Русь. London, 1990. Изд. 3-е. С. 400.

¹⁵ *Ремизов А.* Рисунки писателей. // *Временник Общества друзей русской книги*. Париж, 1938. Вып. IV. С. 25—30.

¹⁶ *Ремизов А. М.* Огонь вещей. С. 144.